

Николай Добролюбов

# От Москвы до Лейпцига



Николай Александрович Добролюбов

## От Москвы до Лейпцига

Статья-рецензия Добролюбова посвящена критике либерализма, проблемам исторического прогресса, является значительной вехой в оценке путей развития России и Запада русской революционно-демократической критикой. Добролюбов показывает буржуазный характер большинства преобразований, реформ в Западной Европе, упоминаемых Бабстом, реформ не в интересах «западного пролетария», критик хорошо видит преемственность форм эксплуатации при феодализме и при капитализме. Произвол, насилие, грабеж при «просвещенном капитале» оказываются по существу близкими самодержавному строю России.

# Содержание

#1 .....	0005
Примечания .....	0056

**Николай Александрович  
Добролюбов  
От Москвы до Лейпцига**

*И. Бабста. (Из «Атеней».) Москва, 1859*

Две великие партии существуют издавна между русскими учеными по вопросу об отношениях России к другим народам Европы. Одна партия выражает свое убеждение на этот счет формулой: «Россия цветет, а Запад гниет»; а когда ее представители приходят в некоторый пафос, то начинают петь про Россию ту самую песню, которую, по свидетельству г. Милюкова, в недавно изданных им заметках о Константинополе (стр. 130){1}, оборванный мальчишка в константинопольской кофейной пел про Турцию, – а именно:

*Нет края на свете лучше нашей Турции,  
нет народа умнее османлисов! Им  
аллах дал все сокровища мудрости,  
бросив другим племенам только крупницы  
разумения, чтоб они не вовсе  
остались верблюдами и могли служить  
правоверным.*

*Нет города под луною, достойного  
быть предместьем нашего многоминаретного  
Стамбула [1], да хранит его пророк.  
Нет в нем счета дворцам и киоскам,  
дорогим камням и лунолицым красавицам.*

*Если бы Черное море наполнилось вме-*

*сто воды чернилами, то и его недоста-  
ло бы описать, как сильна и богата  
Турция, сколько в ней войска и денег и  
как все народы завидуют ее сокрови-  
щам, могуществу и славе.*

Г-н Милюков заверяет, что его проводник из греков, переведши ему эту песнь, нагнулся к нему и шепнул, в pendant [2] к ней, «Собаки! Настоящие собаки!..» (стр. 131).

Но дело не о собаках...

В противоположность первой великой партии, сейчас охарактеризованной нами, другая партия должна бы говорить: «Нет, Россия гниет, а Запад цветет». Но столь крайней и дерзкой формулы до сих пор в русской литературе еще не появлялось и, конечно, не появится, ибо никто из нас не лишен патриотизма. Партия, противная туркоподобной партии, останавливается на положениях, гораздо более умеренных и основательных. Она говорит: «Каждый народ проходит известный путь исторического развития; Запад вступил на этот путь раньше, мы позже; нам остается еще пройти многое, что Западом уже пройдено, и в этом шествии, умудренные чужим

опытом, мы должны остеречься от тех падений, которым подверглись народы, шедшие впереди нас».

К этой второй из двух великих партий принадлежит и г. Бабст, как удостоверяют нас, между прочим, его путевые письма, о которых мы намерены теперь говорить. Нужно отдать справедливость г. Бабсту: он является в своих письмах очень ловким адвокатом того дела, за которое взялся. На каждом шагу он умеет напомнить нам, как нас опередила Европа; в каждом немецком городке умеет найти какое-нибудь полезное или приятное учреждение, которого у нас еще нет и долго не может быть; по каждому из главнейших наших вопросов он представляет такие соображения и параллели, из которых ясно, что если уж Запад гниет, то и наше процветание придется назвать плесенью. Приведем несколько таких параллелей, сделанных им мимоходом, во время кратких отдыхов от скакания по железной дороге, как он сам выразился о своем путешествии» (стр. 1){2}.

В Берлине, говоря о неудобствах бюрократии вообще, г. Бабст отдает, однако же, спра-

ведливость прусскому чиновничеству и делает при этом следующее замечание (стр. 45–47):

*Взгляните на прусского полицейского, на берлинского Schutzmann, войдите в первое присутственное место, в почтамт, в тюрьму, и на вас повеет все-таки иным воздухом; вы чувствуете себя и среди бюрократической атмосферы свободней, самостоятельней; вы знаете, что честь ваша не будет и не может быть оскорблена наглым поступком, безнаказанною, бессознательною грубостью; вы начинаете сознавать себя человеком свободным, который имеет свои права, начинаете понимать, что не вы существуете, работаете и живете для чиновничества, но что последнее существует для вас. С нами, русскими, происходят, как мне показалось, самые разнообразные изменения с первым шагом за границу. Мы, как хамелеоны, непрерывно меняем цвета, покуда наконец не успеем примениться. Сначала русский является таким подобострастным, вежливым, так боязливо подходит к чиновнику на дороге, к полицейскому,*

что обращает на себя общее внимание. «Вероятно, русский», – случилось мне не раз слышать о каком-нибудь пассажире, о чем-то упрасивающем чиновника железной дороги, и упрасивающем непременно уже о каком-нибудь снисхождении, о чем-нибудь противном правилам дороги. Чиновники при дорогах вообще чрезвычайно вежливы, и редко встретишь с их стороны отказ, если только есть какая-нибудь возможность услужить. Но потом, видя, как все угодливо, видя, что люди здесь свободны, наш брат начинает чувствовать в себе сознание собственного достоинства, самостоятельности, начинает хорохориться, и у многих прорываются уж барские замашки, своевольничанье и даже грубость, – но это до первого отпора. Дадут окрик, укажут на закон, и опять сделаешься как шелковый. Привыкнешь, конечно, обойдешься и станешь действительно гражданином, уважающим закон, сознающим и свои права и обязанности, – к сожалению только, кажется, до первого шага на родной почве, где нас разом обдаст иною жизнью, где

вы и после короткого отсутствия, несмотря на радость свидания с близкими и друзьями, несмотря на родную вашему сердцу жизнь, чувствуете себя сначала неловко и не по себе. Вы отвыкли уже немножко от дикой обстановки, хоть и из Европы же заимствованной, но дикой по форме и переложенной как-то на казацкие нравы, и в то же почти мгновение вы чувствуете, как в вас самих начинают шевелиться скифские привычки, и смотришь – едва ступил на родную почву, норовишь уже кого-нибудь выбрать, хоть извозчика на первый раз.

Позвольте вам сообщить несколько наблюдений.

Много пришлось мне проехать таможен: везде вас встречает чиновник с холодной вежливостью; берут ваши вещи, с невозмутимым спокойствием осматривают их; везде довольно народа, все это делается быстро, но без шума, без суетни, без грубости, без диких форм; комнаты, где смотрят вещи, – удобные; для всех есть место, и отпускают вас очень скоро.

Но вот бросает пароход якорь в Крон-

штадте. Подъезжает лодка с таможенными чиновниками и солдатами. Был с нами на пароходе денщик одного офицера, с которым ездил за границу. И он и мы все с любовью приветствовали родной край. «Вот они, орлы-то наши! – закричал, не выдержав, служивый, глядя на усачей таможенных. – Сейчас признаешь. Воинственное есть нечто». – Мы засмеялись, но не прошло и десяти минут, как слух наш был оскорблен самым грубым ругательством, которым чиновник чествовал одного из почтенных, увешанных медалями усачей. Вот мы и у пристани в Петербурге. Все наши вещи взяли, ввели всю ватагу пассажиров в комнату. У одних дверей стоят два часовых, чтобы никого не впускать в комнату, где досматриваются вещи и куда должны входить пассажиры по частям. Грешно каждому из нас было бы пожаловаться на чиновников петербургской таможни. Они несравненно любезнее и обходительнее многих заграничных. Так же вежливо спрашивают вас, нет ли чего запрещенного, всеми силами стараются скорее вас

отпустить; но спросим их же самих, и каждый из них сам сознается, что внешняя обстановка дика, многосложна, запутанна и отзывается осадным положением. «Что, брат, воинственное есть нечто? – спросил я служивого, с грустью ожидавшего своей очереди. «Точно, ваше благородие, порядок-то тот лучше-с».

Едете вы в Берлине на железную дорогу. Закон говорит, и в каждой карете прибито объявление, что для избежания сумятицы вы должны извозчику платить вперед, дабы извозчики не имели права толпиться у подъезда к станции. И действительно, вы приезжаете, носильщики берут ваши вещи, вы выходите, извозчик отъезжает, а на его место тотчас становится другой. Ведь очень просто, кажется. Посмотрим же на наши станции. Извозчики кричат: кто просит прибавки, кто ругается, что недодали; жандармы кричат, чтобы отъезжали, казаки грациозно трясут нагайками; а ведь ларчик так просто открывается, и можно избежать всей этой безурядицы. Дело только в том, что там нече-

*го полиции ни изъяснить закона, ни истолковывать его по-своему. Постановления об извозчиках найдешь прибитыми в каждой карете или коляске; каждый извозчик знает грамоте, и он не может отговориться незнанием, точно так же как ни полиция, ни кто иной не может с него потребовать ничего лишнего. Чего бы мы, следовательно, ни коснулись, какой бы вопрос ни затронули – результат один, что без грамотности ничего не сделаешь и что и образованию одно спасение.*

Заметки и сравнения такого рода беспрестанно делаются г. Бабстом в его письмах. Осматривает он библиотеку в рославльском университете: его поражает обыкновение, господствующее здесь, – снабжать книгами из нее учителей гимназий, даже иногородних, и он сравнивает с этим прекрасным обыкновением печальное положение наших библиотек, в которых большая часть книг похоронена, как в гробу, – точно будто библиотека имеет единственно назначение архива. – Ходит он в Берлине по гуляньм и музеям: он обращает внимание читателей на то, как дешево

и просты у немцев изящные удовольствия, как легко доступ в музеи, как развит интерес к изящным искусствам во всем народонаселении. – Проезжая мимо одного местечка, наш путешественник встречает сцену мирной семейной жизни саксонского лесничего: он не упускает рассказать, как жена лесничего прядет лен и пряжу отдает ткать, как сам лесничий носит пальто из грубой парусины, ходит пешком и пр. И затем прибавляет: «Бедный, глупый окружной начальник саксонских королевских лесов! Как же ты не дошел, много учившись и трудившись, до простой операции с попенными деньгами, обращающимися в хороших лошадей, в коляски, шляпки, тонкое полотно, вытканное, может быть, из той же пряжи, которую продала твоя жена?» (стр. 91). Осматривает г. Бабст элементарную школу в Лейпциге: и тут находит он повод сделать несколько любопытнейших применений к нашему быту, указывая на отношения между собою служащих лиц в лейпцигской школе. Здесь, говорит он, все просто, все показывает вам, что люди, собранные здесь, имеют в виду одну цель и общими силами, каж-

дый в своей сфере, к ней стремятся. Директор – это тот же учитель, только с большей опытностью, и другие учителя доверяют ему, но и сами имеют в своем деле голос и суждение. Затем, переходя к нашим училищам, г. Бабст рассуждает (стр. 134–135):

*Вся разница между такою организацией училищ и другою, внешним образом, пожалуй, с нею и сходною, состоит в том, что здесь директор имеет значение и первенство действительно только потому, что он ведет целое заведение, а вовсе не потому, что он старше чином или кавалер, тогда как в иных местах он прежде всего начальник и из-за начальнического своего значения забывает свое настоящее положение и цель своей должности. В одном месте цель и назначение каждого директора и учителя – воспитание, образование детей, в другом обязанность директора – это быть исправным по службе, чтобы была у детей хорошая выправка, чтобы на ногах мозолей не было, чтобы дружно кричали дети «Здравия желаю!», чтобы застегнуты были мундиры. Может ли дирек-*

тор, будь он отличнейший человек и педагог, заботиться и действовать в пользу образования так, как бы ему хотелось, когда —

Свежо предание, а верится с трудом —

все внимание его было обращено не на учение, а на порядок, когда приезжавшие ревизовать его начальники об учении не только не заботились, но даже и не могли справляться, когда они больше всего смотрели на стены, да на мундиры, когда под заботой о нравственности детской разумелась забота о стрижке волос. Чиновничество всосалось во все стороны нашей педагогической жизни, развилось до удивительных размеров и породило такую сложную администрацию, которой подобную не встретим мы в целом мире. Штатный смотритель, стоя в полном мундире униженно перед директором училищ, распекает, в свою очередь, бедного уездного учителя, осмелившегося явиться к нему без формы. Каждая гимназия совершенно, подумай, на военном положении, — столько в ней сторожей и солдат: од-

ни для чистоты, другие для порядка, одни, чтобы по субботам сечь мальчишек, другие, чтобы мыть их. Довольно того, что в гимназиях на сторожей расходуется нередко гораздо более денег, чем на всех учителей. Но кому это неизвестно? Все мы это хорошо знаем, у всех у нас оно перед глазами; наши директора, наши учителя – первые от этого страдают и жаждут выйти из такого неестественного положения; им главным образом оно невыносимо и грустно, – я же, с своей стороны, прибавлю здесь одно скромное замечание, что и за образцами ходить не нужно далеко. Администрация наших частных пансионатов, которые в отношении к ученью не только ни в чем не уступают гимназиям, но даже во многом превосходят их, хотя лучшие учителя одни и те же и здесь и там, – администрация их, своей простотой и экономией, могла бы во многом служить образцом для будущей реформы гимназий. И это не мое личное мнение, но многих из моих почтенных товарищей-учителей. Когда содержатель пансионата с четырьмя надзирателями

и прислугой из пяти-шести человек может вести заведение, где обучается до 150 мальчиков, – неужели же невозможно то же самое и в гимназиях? Наконец, за образцами можно обратиться и к нашей старине. Она иногда может дать очень спасительные советы. Я сам воспитывался в гимназии, которая в 1838 году управлялась директором да советом учителей, из которых один исправлял директорскую должность, когда сам директор отлучался на ревизию уездных училищ. При гимназии был всего только один сторож (Calefactor), и все было в порядке. Я помню живо наше удивление, когда вдруг явилось раз в 1840 году, во время утренней молитвы, новое лицо и когда нам объявили, что это инспектор. К чему? зачем? – этого, вероятно, хорошо никто не мог объяснить – ни мы, ни директор, ни сам инспектор, ниже кто другой. Инспектор был прекраснейший человек, умевший снискать впоследствии глубокое уважение целого города, но сам же сознавался, что он – лицо совершенно лишнее, мало того – что его появление внесло своего

*рода безурядицу, вместо ожидаемого свыше порядка, – безурядицу уже потому, что директор не мог сносить нового лица, с которым ему пришлось делить свои занятия.*

Вообще письма г. Бабста наполнены указаниями на хорошие стороны европейской жизни, которых еще недостает нам. И этого еще мало, что он признает в Европе много хороших сторон: он даже не думает, подобно некоторым из наших мыслителей и ученых, – что Европа умирает, что в ней нет живых элементов. Напротив, он подсмеивается над *широкими натурами*, которые свысока смотрят на *мещанские* привычки Европы. Пусть там и мещанские натуры, – замечает он, – да вот умели же устроить у себя то, чего широкие натуры никак не могут добиться, при всем своем желании!.. И при этом почтенный профессор не сомневается, что Европа все будет идти вперед, и теперь даже лучше – тверже и прямее, – чем прежде. В прежнем своем шествии она, по мнению почтенного профессора, делала много ошибок, состоявших именно в том, что верила в возможность совершить

что-нибудь вдруг, разом; теперь она поняла, что этого нельзя, что прогресс идет медленным шагом и что, следовательно, все нужно изменять и совершенствовать исподволь, понемножку... На этом медленном пути у Европы есть теперь надежные путеводители: гласность, общественное мнение, развитие в народах образованности – и общей и специальной. С этим она уже неудержимо пойдет вперед, и никакие катастрофы впредь не увлекут ее. Теперь даже и гениальные люди и сильные личности не нужны Европе: без них все может устроиться и идти отлично, благодаря дружному содействию общества, умеющего избирать достойных и честных деятелей для каждого дела. Вот подлинные слова г. Бабста (стр. 17):

*Гениальные государственные люди редки; они являются в тяжкие переходные минуты народной жизни; в них выражает народ свои задушевные стремления, свои потребности, свое неукротимое требование порешить со старым, дабы выйти на новую дорогу и продолжать жизнь свою по пути прогресса; но такие переходные эпохи*

наступают для народа веками, и, сильно сдается нам, задачи их и значение в истории чуть ли не прошли безвозвратно. Запас сведений и знаний в европейском человечестве стал гораздо богаче, гражданские права расширились, сознание прав усилилось, и, наконец, доверие к насильственным переворотам вследствие горьких опытов угасает. Потребности государственные и общественные принимаются всеми близко к сердцу, гласность допускает всеобщий народный контроль, уважение к общественному мнению в образованном правительстве воздерживает его от произвольных распоряжений, и оно же заставляет невольно выбирать в государственные деятели людей, пользующихся известностью, людей, специально знакомых с частью государственного управления, в челе которой их ставят, а не первого проходимца; широко же разлитое в народе образование, и общее и специальное, дает возможность выбора достойнейшего. В Европе прошло или проходит по крайней мере то время, когда еще думали, что хороший кавалерист мо-

*жет быть и отличным правителем, плохой шеф полиции, или попросту полицмейстер, – директором важного специального училища. Такие явления возможны были прежде, когда государственная жизнь была проще и не так сложна, когда хороший полковник мог быть действительно хорошим администратором.*

Таким образом, по мнению г. Бабста, не одна Россия «hat eitie grosse Zukunft», [3] как говорил один сладенький немец, скакавший вместе с г. Бабстом по железной дороге. Европа тоже имеет будущее, и очень светлое. Нам еще нужно пройти большое пространство, чтобы стать на то место, на котором стоит теперь европейская жизнь. И мы должны идти по тому же пути развития, только стараясь избегать ошибок, в которые впадали европейские народы вследствие ложного понимания прогресса.

Во всем этом мы совершенно согласны с г. Бабстом. Желания его мы разделяем, не разделяем только его надежд, – ни относительно Европы, ни относительно нашей будущей непогрешимости. Мы очень желаем, чтоб Ев-

ропа без всяких жертв и потрясений шла теперь неуклонно и быстро к самому идеальному совершенству; но мы не смеем надеяться, чтоб это совершилось так легко и весело. Мы еще более желаем, чтобы Россия достигла хоть того, что теперь есть хорошего в Западной Европе, и при этом убереглась от всех ее заблуждений, отвергла все, что было вредного и губительного в европейской истории; но мы не смеем утверждать, что это так именно и будет... Нам кажется, что совершенно логического, правильного, прямолинейного движения не может совершать ни один народ при том направлении истории человечества, с которым она является перед нами с тех пор, как мы ее только знаем... Ошибки, отклонения, перерывы необходимы. Уклонения эти обуславливаются тем, что история делается и всегда делалась – не мыслителями и всеми людьми сообща, а некоторою лишь частью общества, далеко не удовлетворявшею требованиям высшей справедливости и разумности. Оттого-то всегда и у всех народов прогресс имел характер частный, а не всеобщий. Делались улучшения в пользу то одной, то

другой части общества; но часто эти улучшения отражались весьма невыгодно на состоянии нескольких других частей. Эти в свою очередь, искали улучшений для себя, и опять на счет кого-нибудь другого. Расширяясь мало-помалу, круг, захваченный благодеяниями прогресса, задел наконец в Западной Европе и окраину народа – тех мещан, которых, по мнению г. Бабста, так не любят наши *широкие натуры*. Но что же мы видим? Лишь только мещане почуяли на себе благодать прогресса, они постарались прибрать ее к рукам и не пускать дальше в народ. И до сих пор масса рабочего сословия во всех странах Европы приходится поплачиваться, например, за прогрессы фабричного производства, столь приятные для *мещан*. Стало быть, теперь вся история только в том, что актеры переменились; а пьеса разыгрывается все та же. Прежде городские общины боролись с феодалами, стараясь получить свою долю в благах, которые человечество, в своем прогрессивном движении, завоевывает у природы. Города отчасти успели в этом стремлении; но только отчасти, потому что в правах, им на-

конец уступленных, только очень ничтожная доля взята была действительно от феодалов; значительную же часть этих прав приобрели мещане от народа, который и без того уже был очень скуден. И вышло то, что прежде феодалы налегали на мещан и на поселян; теперь же мещане освободились и сами стали налегать на поселян, не избавив их и от феодалов. И вышло, что рабочий народ остался под двумя гнетами: и старого феодализма, еще живущего в разных формах и под разными именами во всей Западной Европе, и мещанского сословия, захватившего в свои руки всю промышленную область. И теперь в рабочих классах накапливается новое неудовольствие, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней... Спасут ли Европу от этой борьбы гласность, образованность и прочие блага, восхваляемые г. Бабстом, — за это едва ли кто может поручиться. Г-н Бабст так смело выражает свои надежды потому, что пред взорами его проходят все люди среднего сословия, более или менее устроенные в своем быте; о роли народных масс в будущей истории Западной Европы по-

чтенный профессор думает очень мало. Он полагает, кажется, что для них достаточно будет отрицательных уступок, уже ассигнованных им в мнении высших классов, то есть если их не будут бить, грабить, морить с голоду и т. п. Но такое мнение, во-первых, не вполне согласуется с желаниями западного пролетария, а во-вторых, и само по себе довольно наивно. Как будто можно для фабричных работников считать прочными и существенными те уступки, какие им делаются хозяевами и вообще – капиталистами, лордами, баронами и т. д.!.. Милостыней не устраивается быт человека; тем, что дано из милости, не определяются ни гражданские права, ни материальное положение. Если капиталисты и лорды и сделают уступку работникам и фермерам, так или такую, которая им самим ничего не стоит, или такую, которая им даже выгодна... Но как скоро от прав работника и фермера страдают выгоды этих почтенных господ, – все права ставятся ни во что и будут ставиться до тех пор, пока сила и власть общественная будет в их руках... И пролетарий понимает свое положение гораздо лучше, нежели многие

прекраснодушные ученые, надеющиеся на великодушие старших братьев в отношении к меньшим... Пройдет еще несколько времени, и меньшие братья поймут его еще лучше. Горький опыт научает понимать многие практические истины, как бы ни был человек идеален. В этом случае можно указать в пример на «Задушевную исповедь» г. Макарова, напечатанную в нынешней книжке «Современника». Какие необдуманно надежды возлагал он на своего друга, как был исполнен мечтами о благах, которые долженствовали для него произрасти из дружеского великодушия! И сколько раз он обманывался, сколько раз практический друг толковал ему яснейшим образом, что ему дело только до себя{3} и что он, Макаров, тоже должен сам хлопотать для себя, если хочет получить что-нибудь, а не надеяться на идиллические чувства друга. Но г. Макаров все не хотел верить, все предавался сладостным мечтам и дружеским излияниям... Долго печальные опыты проходили ему даром и не раскрывали глаз на настоящее дело... Но наконец и он ведь очнулся же и написал же грозную «Исповедь», в кото-

рой не пощадил своего гнева на свои же прошедшие отношения...

А что ни гласность, ни образованность, ни общественное мнение в Западной Европе не гарантируют спокойствие и довольство пролетария, – на это нам не нужно выискивать доказательств: они есть в самой книге г. Бабста. И мы даже удивляемся, что он так мало придает значения фактам, которые сам же указывает. Может быть, он придает им частный и временный характер, смотрит на них как на случайности, долженствующие исчезнуть от дальнейших успехов просвещения в европейских капиталистах, чиновниках и оптиматах? Но тут уж надо бы привести на помощь историю, которую призывает несколько раз сам г. Бабст. Она покажет, что с развитием просвещения в эксплуатирующих классах только форма эксплуатации меняется и делается более ловкою и утонченною; но сущность все-таки остается та же, пока остается по-прежнему возможность эксплуатации. А факты, свидетельствующие о необеспеченности прав рабочих классов в Западной Европе и найденные нами у г. Бабста, именно и выхо-

дят из принципа эксплуатации, служащего там основанием почти всех общественных отношений. Но приведем некоторые из этих фактов.

В Бреславле г. Бабст узнал о беспокойстве между рабочими одной фабрики, требовавшими возвышения заработной платы, и о прекращении беспокойства военной силой. Вот как он об этом рассказывает и рассуждает (стр. 37–38):

*Вечером, провожая меня наверх в мою комнату, толстый Генрих сообщал мне, что где-то около Бреславля было беспокойство между рабочими.*

*«Haben sie was vom Arbeiterkrawall gehört, Herr Professor?» – «Nein» [4]. – «Es sind... Curassiere dahin gegangen, haben auseinandergelacht». (Послали туда кирасир, и они разогнали работников.) Дело в том, что на некоторых заводах хозяева понизили задельную плату, работники отказались ходить на работу; конечно, начали собираться, толковать между собой. Это показалось бунтом, послали кирасир, и бедных рабочих заставили разойтись и воротиться к хозяевам на прежних усло-*

виях. Начни работники действительно бунтовать, позволят ли себе насилие, бесчинства – тогда для охранения общественного спокойствия и благочиния правительство самого свободного государства в мире не только вмешивается, но и полное на это имеет право; а какое же дело правительству до того, что работники не хотят работать за низкую плату? Употребляет ли когда-нибудь полиция меры для вынуждения у фабрикантов возвышения заработной платы? Такие случаи чрезвычайно как редки; а потому не следует притеснять рабочих, иначе все проповеди о благах свободной промышленности останутся пустыми и лишенными всякого смысла фразами. Кто смеет меня принудить работать, когда я не сошелся в цене? «Да зачем же они соединяются в общества? Это грозит общественной безопасности!» Так велите фабрикантам прибавить жалованье. Нет, это, говорят, будет противно здравым началам политической экономии, – и на этом основании стачка капиталистов допускается, к ним являются да-

*же на помощь королевско-прусские кирасиры, а такое кирасирское решение экономических вопросов, должно сознаться, очень вредно. Оно только доказывает, что в современном нам европейском обществе не выдохлась еще старая феодальная закваска и старые привычки смотреть на рабочего как на человека подначального и служащего. Подобные примеры полицейского вмешательства в дела рабочих и фабрикантов, к сожалению, не редки, и мы можем утешаться только тем, что лучшие публичные органы не перестают громко и энергически восставать против всякого произвольного вмешательства в отношения между хозяевами и рабочими, капиталом и трудом. Такой произвол всегда наносит глубокие раны промышленности, и если не навсегда, то по крайней мере надолго оставляет горечь и озлобление между двумя сторонами, а последствия этого бывают всегда более или менее опасны для общественного спокойствия.*

Рассуждения г. Бабста очень основательны; но рабочий вовсе не считает утешитель-

ным, что за него пишут в газетах почтенные люди. Он на это смотрит точно так же, как (приведем сравнение – о ужас! – из «Свистка»!) глупый ванька смотрел на господина, который ему обещал опубликовать юнкера, скрывшегося чрез сквозной двор и не заплатившего извозчику денег...{4} Да и мы можем обратить г. Бабсту его фразу совершенно в противном смысле. *«Лучшие публичные органы не перестают громко и энергически восставать против всякого произвольного вмешательства в отношения между хозяевами и рабочими, капиталом и трудом; и несмотря на то, произвол этот продолжается и по-прежнему наносит глубокие раны промышленности. Не печально ли это? Не говорит ли это нам о бессилии лучших органов и пр., когда дело касается личных интересов сословий?»* Г-н Бабст может нам ответить, что до сих пор они были бессильны, но наконец получают же силу и достигнут цели. Но когда же это будет? Да еще и будет ли? Призовите на помощь историю: где и когда существенные улучшения народного быта делались просто вследствие убеждения умных людей, не вы-

нужденные практическими требованиями народа?

Но положим даже, что это «кирасирское решение экономических вопросов», по выражению г. Бабста, есть не более как случайность, хотя оно, по его же собственному замечанию, *случается, к сожалению, нередко...* А что же сказать об отношении больших фабрик к ремесленному производству и о цеховом устройстве, доставившем такие забавные анекдоты для пятого письма г. Бабста?{5} Это уж никак не случайность. Совершенно напротив: тут видим целое учреждение, даже усовершенствованное в последнее время благодаря успехам новейшей фабричной цивилизации. «После того, – говорит сам г. Бабст, – как рушились все последние остатки крепостной зависимости и обязательного труда, когда земля сбросила все средневековые узы, стесняющие свободу перехода ее из рук в руки, следовало бы, конечно, ожидать, чтобы развязали руки и остальным отраслям народной промышленности, – но не тут-то было! Цеховые учреждения остались по-прежнему в полной силе; они, следовательно, стеснили

свободное развитие народного труда, затруднили отлив избытка земледельческого населения к промыслам и были, смело можно сказать, главной причиной бедствия во многих, даже щедро наделенных природою и благословенных местностях южной Германии» (стр. 99). И в самом деле, – примеры, приводимые г. Бабстом, удивительны! Например, парикмахеры тянут в суд нескольких девушек за то, что они убирали волосы дамам и тем учинили подрыв парикмахерскому цеху. Плотники и столяры спорят между собою, кому принадлежит право постройки деревянной лестницы; токари не позволяют столярам приделывать к стульям точеные и резные украшения. Один цех пирожников имеет право печь только слоеные пирожки без варенья, а другой – пирожки с вареньем, но без масла... Появился в одном городке какой-то третий сорт пирожков, очень понравившихся жителям. Но ни один из существовавших в городе пирожных цехов не имел права печь их и не позволял никому другому. Город остался без любимых пирожков... Вообще в каждой мелочи один цех зорко и злобно сле-

дит за другими, и, по словам г. Бабста, присутственные места завалены процессами и жалобами разных цехов на нарушение их прав. И между тем ограничение и стеснение промыслов не только не уничтожается, но еще время от времени пополняется и совершенствуется в Германии новыми постановлениями. В 1845 году введены ремесленные испытания и регламентация промыслов, и с того времени мелкая промышленность в Пруссии стала упадать. Несмотря на столь близкий пример, в 1857 году в Саксонии сочинен был новый ремесленный устав, о котором г. Бабст отзывается как о нелепейшем создании канцелярской головы. По смыслу его, «везде, при каждом удобном случае, начальство имеет право вмешиваться в дела корпораций, наблюдать за собраниями, за книгами. Ради ремесленных корпораций женщинам запрещено заниматься разными ремеслами; ограничена также ремесленная промышленность в деревнях; ни одна деревня не может иметь более одного сапожника, портного, столяра, и то только с разрешения начальства» и т. д. (стр. 100). И надо заметить, что все это делает-

ся в видах покровительства ремеслам от преобладания большого фабричного производства! А фабричное производство, разумеется, процветает совершенно свободно и с каждым годом все более тяготеет над мелкою промышленностью. Против этого возможно одно средство, по замечанию г. Бабста, – уничтожение всех стеснений и свободная ассоциация ремесленников. Но что же – стараются ли облегчить пути к этому те классы, от которых зависит в Западной Европе регламентация или предоставление свободы мелким промышленникам? Не заботятся ли они, напротив, о поставлении всякого рода препятствий и затруднений на этом пути?

Конечно, г. Бабст и тут находит возможность утешить себя весьма справедливой мыслью, что «свобода труда непременно когда-нибудь восторжествует и разобьет вконец последние остатки средневековых промышленных стеснений»{6}. Конечно, так; но мы не знаем, до какой степени практично такое утешение. В романтических творениях оно очень хорошо: когда я читал, бывало, романы господина Загоскина и Рафаила Михайловича

Зотова, то в сомнительных случаях, где герою или героине угрожала опасность, я всегда успокаивал себя тем, что ведь при конце непременно порок будет наказан, а добродетель восторжествует. Но я не решался прикладывать этого рассуждения к действительной жизни, особенно когда увидел, что в ней этого вовсе не бывает...

Впрочем, г. Бабст, как политико-эконом, не должен быть упрекаем в недостатке практичности...

Порукою за будущее служит для г. Бабста общественное мнение. В доказательство великой силы его в Германии он приводит следующий факт. «Посмотрите, – говорит он, – какое великое значение имеет здесь общественное мнение: весной 1857 года вышел проект нового ремесленного устава (о котором говорили мы выше), а в июне того же года собрались ремесленники в Хемнице и Росвейне, протестовали против стеснения промышленности, и правительство не решилось предложить устава на обсуждение палаты» {7}. Какое, в самом деле, сильное доказательство!.. Ну, а «кирасирское разрешение про-

мышленных вопросов» – одобряется общественным мнением? А все стеснения цехов находят себе в общественном мнении защиту?.. Да и после протеста ремесленников что же сделали, – сняли стеснения, расширили свободу промыслов? Ничего не бывало. Отчего же это общественное мнение, заставившее оставить проект нового устава, не заставило в то же время сделать и некоторые облегчения для мелкой промышленности? Не оттого ли, что здесь *общественное мнение* (как угодно выражаться г. Бабсту) приняло для своего выражения форму не совсем обычную? Не оттого ли, что хемницкие и росвейнские сходбища были – не просто отголоском общественного мнения, а криком боли притесняемых бедняков, решившихся наконец крикнуть, хотя это им и запрещено?..

Но, разумеется, и эта уступка была сделана только потому, что новые стеснения, предложенные новым уставом, были, собственно, никому не нужны. Иначе *общественное мнение* могло бы быть сдержано «кирасирскими возражениями». И кто бы помешал в Хемнице произвести в 1857 году то, что в 1859 году

производили кирасиры около Бреславля{8}, или что в 1849 году прусские солдаты делали в Дрездене?{9} Ведь самому же г. Бабсту рассказывал старый чех, как тогда, «упоенные победой и озлобленные сопротивлением, солдаты кидались в дома и выбрасывали с третьего этажа обезоруженных неприятелей, женщин и детей, как они прокалывали пленных и сбрасывали их с моста в Эльбу» (стр. 88).

Не знаем, где г. Бабст нашел в Европе существование «всеобщего народного контроля» (стр. 17); но мы решительно сомневаемся даже в его возможности при теперешнем порядке тамошних дел. Да помилуйте, какой же тут «всеобщий народный контроль», когда в один месяц путешествия, скача по железной дороге из города в город, г. Бабст имел возможность сделать такого рода наблюдения и заметки.

«В Берлине, – говорит он, – не успели внести мои вещи, не успел еще я сбросить пальто, а ко мне уже явились за паспортом, – точно из опасной страны приехал. И ведь это все бог знает для чего. *Завелся такой порядок и*

*держится, а зачем, к чему эти полицейские меры, это нянченье с человеком и вечные опасения, – этого, я думаю, и самый рьяный защитник полицейского порядка хорошо объяснить не в состоянии»* (стр. 43). Отчего же это, однако, держится? Неужели в силу того, что всеобщий народный контроль существует и сила общественного мнения велика?

Берлинское статистическое бюро, бывшее до 1844 года самостоятельным учреждением, было в этом году подчинено департаменту торговли. Мера эта «вызвала справедливое неудовольствие со стороны лучших статистиков и ученых Германии; тогда сделана уступка общественному мнению, и в 1848 году статистическое бюро подчинено министерству внутренних дел...» (стр. 56). С дрезденским статистическим бюро поступлено еще лучше, «Еще в мае, – говорит г. Бабст, – Энгель, директор его, жаловался, что ему нет покоя от камер и что на него особенно негодует дворянская партия (Junkerthum) за некоторые данные, им выставленные относительно дворянских имений, за напечатание приблизительного вычисления их доходов... Палата саксон-

ская сильно, должно быть, озлобилась на статистику и отказала бюро в прибавочных 2000 талеров, тогда как она же вотировала единогласно 25 000 талеров на монумент в честь покойного короля... Когда я в августе проезжал опять через Дрезден, – заключает г. Бабст, – Энгель вышел уже, сказали мне, в отставку и посвятил себя частным делам» (стр. 98)... Может быть, и это тоже доказывает, что теперь повсюду в Европе (исключая, конечно, Австрию!) «гласность допускает всеобщий народный контроль» и что «потребности государственные и общественные принимаются всеми близко к сердцу»?

А до какой степени велика уже теперь сила образования в сравнении с силою грубого произвола, об этом очень красноречиво может свидетельствовать г. Бабсту история немецких университетов, которую он так хорошо излагает в своем четвергом письме<sup>{10}</sup>. Университетам ли, уж кажется, не быть опорами образования? Ведь это учреждение вековое, высшее, свободное, укоренившееся в народной жизни, особенно в Германии. И что же оказалось? Университеты ограничены,

стеснены, подвергнуты преследованиям, в которых, по словам г. Бабста, каждое немецкое правительство как будто хотело перещеголять друг друга... И все это прошло так, как будто бы все было в порядке вещей. А между тем как бесцеремонно поступали с бедняжками! Приведем слова г. Бабста (стр. 71):

*Не будем говорить об Австрии, где император Франс сказал в Ольмюце профессорам, что дело не в знании, не в учении, а в том, чтобы ему приготовили подданных, богобоязненных и с хорошим поведением, но даже Пруссия оказала в деле преследования особенное рвение. Вместо того чтобы предоставить преобразование самим университетам, вместо того чтобы обновить их уничтожением остатков средневекового устройства и расширить круг их действия, признав за ними право самостоятельности и инициативы во всем, что действительно их касается, самостоятельности и свободы, без которых universitas literarum немислима, а не глупых привилегий и исключительности, – немецкие правительства не тронули послед-*

*них, а наложили руку на главное, на жизненную силу университетов, на свободу преподавания.*

Что же это доказывает? Неужели опять-таки то, что ныне в Западной Европе «уважение к общественному мнению в образованном правительстве воздерживает его от произвольных распоряжений»?..

Нет, нельзя и думать, чтобы отныне в Западной Европе все недостатки и злоупотребления могли уничтожаться и все благие стремления осуществляться одною силою того общественного мнения, какое там возможно ныне по тамошней общественной организации. Так называемое *общественное* мнение в Европе далеко не есть в самом деле общественное убеждение всей нации, а есть обыкновенно (за исключением весьма редких случаев) мнение известной части общества, известного сословия или даже кружка, иногда довольно многочисленного, но всегда более или менее своекорыстного. Оттого-то оно и имеет так мало значения: с одной стороны, оно и не принимает слишком близко к сердцу те действия, даже самые произвольные и

несправедливые, которые касаются низших классов народа, еще бесправных и безгласных; а с другой стороны, и сам произвол не слишком смущается неблагоприятным мнением тех, которые сами питают склонность к эксплуатации массы народной и, следовательно, имеют свой интерес в ее бесправности и безгласности. Если рассмотреть дело ближе, то и окажется, что между грубым произволом и просвещенным капиталом, несмотря на их видимый разлад, существует тайный, невыговоренный союз, вследствие которого они и делают друг другу разные деликатные и трогательные уступки, и щадят друг друга, и прощают мелкие оскорбления, имея в виду одно: общими силами противостоять рабочим классам, чтобы те не вздумали потребовать своих прав... Самая борьба городов с феодализмом была горяча и решительна только до тех пор, пока не начала обозначаться пред тою и другою стороною разница между буржуазией и работником. Как только это различие было понято, обе враждующие стороны стали сдерживать свои порывы и даже делать попытки к сближению,

как бы в виду нового, общего врага. Это повторилось во всех переворотах, постигших Западную Европу, и, без сомнения, это обстоятельство было очень благоприятно для остатков феодализма, как для партии уже ослабевшей. Но для *мещан* эта робость, сдержанность и уступчивость была вовсе невыгодна: вместо того чтобы окончательно победить слабеющую партию и истребить самый принцип, ее поддерживавший, они дали ей усилиться из малодушного опасения, что придется поделиться своими правами с остальной массой народа. Вследствие таких своекорыстных ошибок остатки феодализма и принципы его – произвол, насилие и грабеж – до сих пор еще не совсем искоренены в Западной Европе и часто выказываются то здесь, то там в самых разнообразных, даже цивилизованных формах...

Вообще с изменением форм общественной жизни старые принципы тоже принимают другие, бесконечно различные формы, и многие этим обманываются. Но сущность дела остается всегда та же, и вот почему необходимо, для уничтожения зла, начинать не с вер-

хушки и побочных частей, а с основания. Пример этого находим мы опять у г. Бабста, в рассказе о германских университетах. Известно, что в XVII и в начале XVIII века университеты составляли реакцию всему, что только являлось нового и смелого. Это произошло вследствие того, что, утомленные в борьбе с духовенством за свою самостоятельность и свободу, они отдались наконец в руки тогдашней светской власти и из свободной корпорации сделались чиновничьими учреждениями. «Из немецких университетов, – говорит г. Бабст, – боявшихся за свои привилегии, подчинившихся, ради сохранения своих, потерявших уже всякий смысл корпоративных форм, вполне государству, выходили самые ревностные доносчики» (стр. 68). Таким образом, влиянием враждебных обстоятельств, к XVII веку самый принцип университетской жизни изменился. Вследствие этой перемены весь характер действий университетов стал совершенно другой: вместо самостоятельности водворилось раболепство, вместо стремления к развитию – гордость своей неподвижностью, вместо дружного содействия всякому

совершенствованию – злобное старание мешать всякому развитию... В XVII и начале XVIII века это выражалось в самых грубых и несносных формах. Карпцов, представитель лейпцигского юридического факультета, хвастался тем, что он подписал 400 смертных приговоров;{11} члены Галльского университета настояли, чтоб выгнан был из него философ Вольф и даже принужден был в 24 часа оставить прусские владения, под опасением смертной казни;{12} Спенера и Томазия в течение всей их жизни преследовали профессора за их вольнодумное направление, и т. п. {13} Но времена изменились; смертные казни уж не в ходу; всюду проникли новые формы общежития... Изменились формы нетерпимости и насилия и в университетах германских; но нетерпимость и насилие все-таки остались. В доказательство этого прочтите у г. Бабста то, что он говорит о положении приват-доцентов в университетах, и то, что рассказывает об истории Бекгауза с Бекингом {14}. По словам г. Бабста, во многих, преимущественно в маленьких, немецких университетах господствует в величайших размерах

непотизм;{15} вообще же только тот и достигает профессуры, кто поддерживается главными ординарными профессорами. Только они имеют значение и голос в факультете. Privat-доценты составляют ученый пролетариат: их стараются забить на второй план, не давать им читать главных предметов и т. п. Оттого к ним и слушателей ходит очень мало: все находят более выгодным слушать ординарных профессоров, «потому что как ни свободен бурш, а чиновник и в нем сидит» (стр. 73), Таким образом теснили и Бекгауза, особенно когда увидели, что его лекции привлекают много слушателей (с каждого слушателя, как известно, получают деньги в пользу профессора). На него опрокинулся целый юридический факультет Боннского университета: сплетни, подсматриванья за частной жизнью доцента, клеветы и явные оскорбления непрерывно преследовали его. Наконец, когда он объявил, что будет объяснять своим слушателям пандекты{16}, которые до сих пор читались только ординарными профессорами, тогда факультет составил определение, по которому Бекгауз потерял право читать

лекции... Бекгауз жаловался министру; министр сказал, что тут его дело сторона. Тогда Бекгауз обратился к самому королю, а между тем напечатал всю историю... Журналы горячо за него вступились; «но чем кончилось дело, не знаю», – заключает г. Бабст...

Все это было в нынешнем году, после стольких перемен и маленьких реформ в устройстве университетов, после стольких и столь громких толков о коренной их реформе... Не то же ли это самое, в сущности, что было и в XVII веке? И так будет до тех пор, пока не изменится наконец самый принцип университетского существования в Германии – отношение его к государственной власти...

Желание помочь делу *как-нибудь* и *хоть сколько-нибудь*, замазать трещину хоть на короткое время, остановиться на полдороге к цели, удовольствоваться полумерой, в надежде, что потом *авось* это сделается само собой, по неминуемым законам прогресса, – такое направление деятельности вовсе не есть исключительное свойство русского человека, как полагают некоторые патриоты. Так посту-

пали деятели всех народов Европы, и от этой невыдержанности происходила, разумеется, большая часть их неудач. В этом смысле мы признаем, что народы Западной Европы постоянно впадали в ужасную ошибку. И тем более мы удивляемся, каким образом могут некоторые ученые люди защищать благодетельность паллиативных мер для будущего прогресса Западной Европы и отвергать реформы общие и решительные, как губительные для ее благоденствия. По некоторым предметам грешит в этом отношении и г. Бабст, хотя нужно признаться, что у него в иных случаях выражаются требования довольно широкие. Говоря о предоставлении гражданских прав евреям и требуя для них решительной полноправности, а не частных льгот, он приводит следующее сравнение. «Если вы хотите помочь разумному и деловому человеку в его предприятии, – неужели вы найдете более полезным отпускать ему деньги по грошам, чем вручить ему весь капитал, чтобы он был в состоянии приняться разом за производство» (стр. 11). Это сравнение очень умно; но его следует относить не к одним евреям: оно так

же хорошо приходится и ко всем общественным преобразованиям, необходимым для Западной Европы... Тратиться по мелочи там решительно не для чего; нужно непременно пустить в оборот весь капитал, сколько его найдется.

Впрочем, если правду сказать, – в Западной Европе часто и мелочь-то общественных реформ бывает фальшивая либо краденая. Это довольно ясно, например, по вопросу о чиновничестве, тоже излагаемому у г. Бабста. Видите, какое дело.

Бюрократия в Пруссии получила страшное развитие. Штаты чиновников составлены 30–40 лет тому назад и с тех пор почти не изменились. Тогда жалованье соответствовало ценам на жизненные потребности и было достаточно. Теперь цены на все возвысились, а оклады те же. Чиновники и учителя стонут, и по всей Германии раздаются громкие толки о прибавке им жалованья. Но откуда взять прибавку? «Возвышение окладов, – говорит г. Бабст, – не может быть без возвышения бюджета, без новых налогов; а если взваливают на общество новые тягости, то оно, кажется,

имеет полное право исследовать и спросить, действительны ли и законны ли те государственные потребности, на которые требуют с него денег» (стр. 93). И по этому исследованию оказывается вот что: возвышение заделной платы, при возвышении цен на все, делается только для труда производительного; труд же прусских чиновников не только не производителен, но еще и обременителен для общества. «В Германии общий и повсеместный говор, что чиновники и служащие только мешают своей чересчур навязчивой опекой развитию народной жизни, что их уже слишком много сравнительно с потребностями общества, что занятия их во многих отношениях слишком велики. — Сообразив все это, придем к тому результату, что большую часть занятий и дел, находящихся в руках чиновников, можно и пора передать обществу, самим гражданам нам, распустить половину служащих-рабочих и распределить всю получаемую ими доселе заделную плату между остальными» (стр. 96). Отличная мера! Но только что же станет с распущенною-то половиною прусских чиновников? Ведь не

надо забывать, что они не только чиновники, но и люди, граждане, члены этого самого общества. Надо же им чем-нибудь себя пропитывать, а они, кроме чиновнического занятия, ни к какому другому не способны. Что же тут делать с ними? Ведь не перебить же их поголовно; а если хоть и в тюрьму посадишь, то все кормить надобно. Великая ли же будет польза самому обществу, если вместо тысячи людей, quasi-делающих что-то такое и за то получающих с него деньги, будут эти самые деньги получать 500 человек, да, кроме того, обществу на шею насядет еще 500 человек уже решительных тунеядцев!.. А ведь тем непременно должно кончиться, если прусское чиновничество будет так *уполовинено* по совету г. Бабста. Такие *половинные* меры именно и оказываются фальшивыми...

Да, счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь к ходу развития народов Западной Европы и представляя себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь будет лучше. Что и мы должны пройти тем

же путем, – это несомненно и даже несколько не прискорбно для нас. Об этом говорит и г. Бабст: «Неужели обидно нам, когда мы должны прийти к убеждению, что, оставаясь вполне самостоятельными, мы все-таки проходим и проходили те же эпохи исторического развития, как и остальные народы Европы? Не будь этого мы были бы какими-то вырожденками человечества» (стр. 103). Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и уклонений, – в этом тоже сомневаться нечего. Но все-таки наш путь облегчен, все-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное – мы можем и должны идти решительнее и тверже, потому что уже вооружены опытом и знанием... Только нужно, чтобы это знание было действительно знанием, а не самообольщением, вроде наивных восторгов нашей безыменной гласностью и обличительной литературой... Обольщаться своими успехами и приписывать себе излишнее значение всегда вредно уже и потому, что от этого является некото-

рый позыв почтить на лаврах, умиленно улыбаясь... Наклонность к этому всегда замечается у новичков в деле и у людей, от природы одаренных несколько маниловским складом характера; они всегда готовы сказать: «Довольно! пора отдохнуть». Но, к счастью, у нас есть такие энергические деятели, как г. Бабст, которые своими призывами и указаниями на то, что делается у других, пробуждают и нас от дремотной лени... Радуясь этому прекрасному явлению, мы решились своим слабым голосом аккомпанировать мощной речи г. Бабста, с кротким намерением заметить только – что и того, что сделано у других, все еще слишком мало...

# Примечания

## Условные сокращения

**В**се ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

*БДЧ* – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

*ЛН* – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

*ОЗ* – «Отечественные записки»

*РБ* – «Русская беседа»

*РВ* – «Русский вестник»

*Совр.* – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.  
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.*, 1859, № 11, отд. III, с. 65–84, без подписи. Вошло в изд. 1862 г. с восстановлением цензурных изъятий.

Статья-рецензия Добролюбова посвящена критике либерализма, проблемам исторического прогресса, является значительной вехой в оценке путей развития России и Запада русской революционно-демократической критикой.

Профессор политэкономии Казанского и Московского (с 1857 г.) университетов И. К. Бабст в 50-е гг. еще слыл демократом, сторонником реформ экономической и политической жизни России. Он переписывался с Герценом, Некрасов приглашал его возобновить сотрудничество в «Современнике»: «...отведите же нам душу, сделайте милость, напишите нам что-нибудь...» (Из письма Некрасова 26 сентября 1858 г. – Вопросы литературы, 1963, № 9.)

Добролюбов тоже выделял Бабста в публицистике 50-х гг. Он ставил его рядом с именами Н. Щедрина, Н. И. Пирогова (см.: II, 200), сочувственно цитировал популярную в свое время речь Бабста о необходимости реформ и промышленного развития России (II, 414). В статье «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» (см. наст. изд., т. 1, с. 631) он упрекал автора сочинения в забвении имени Бабста и близких ему по взглядам людей.

В конце 1850-х гг. Бабст повернул в сторону буржуазного либерализма. Герцен сразу уловил этот крен, называя Бабста «доктринером» (Герцен, XXVI, 311), но воздержался от развернутой критики. Книга очерков И. К. Бабста обнажила либеральные иллюзии автора, его слепую веру в буржуазный порядок, надежду на не подкрепленную социальными завоеваниями «гласность и общественное мнение» как на «благодетельный и неумолимый контроль» (с. 77 его книги). Даже в юнкерской Пруссии Бабст нашел у лиц, «стоящих в челе» правительства, «просвещенное понимание народных потребностей и истинных начал народного хозяйства» (там же, с. 16).

В либеральных «Отечественных записках» книга Бабста вызвала восхищение. Рецензент А. К. (ОЗ, 1859, № 9, отд. III) подробно пересказывает «Письма» – очерки Бабста – и подчеркивает, что «везде видно со стороны автора ясное понимание исторического хода того или иного явления, иностранного и русского». Добролюбов, обращаясь к тем же фактам, примерам, которыми оперирует Бабст (его, по его же словам, занимало все, «начиная от университетов немецких до последнего полицейского чиновника, от дымящихся аллей силезских доменных печей до четырехсотлетнего швейницкого пивного погребка...», с. 1), не разделяет его надежд – «ни относительно Европы», ни относительно «будущей непогрешимости» России. Добролюбов показывает буржуазный характер большинства преобразований, реформ в Западной Европе, упоминаемых Бабстом, реформ не в интересах «западного пролетария», критик хорошо видит преимущество форм эксплуатации при феодализме и при капитализме. Произвол, насилие, грабеж при «просвещенном капитале» оказываются по существу близкими самодер-

жавному строю России. Статья-рецензия Добролюбова на книгу Бабста в этой связи продолжает тему его цикла статей «Темное царство».

Она наносит удар по либерализму, западническим тенденциям (не принимая в то же время славянофильских) в целом. Критик полемизирует не столько с отдельными лицами, сколько с традиционными понятиями, консервативными принципами, «авторитетными» мнениями.

Новизна статьи Добролюбова – в критическом анализе буржуазной цивилизации, критическом отношении к урезанным буржуазными парламентариями и представителями капитала «свободам», в смелой, просветительской попытке революционера-демократа встать на точку зрения «пролетария».

В ряде случаев Добролюбов косвенно поддерживает «антизападническую» теорию Герцена. Спор между ними по поводу «лишних людей» (см. статьи Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года», «Народное дело») не привел к разрыву. Добролюбов идет вслед за Герценом, Чернышевским и ставит

новые вопросы или решительно обновляет их: роль народных масс в будущей истории Западной Европы, своеобразии современной обстановки на Западе и в России, пути будущего развития России и Запада и др. Оценку статьи см. также в современных исследованиях: Коган Л. А. Н.А. Добролюбов и диалектика (Философские науки, 1986, № 1), Туниманов В. А. «Реальная критика» Н. А. Добролюбова. Критерии народности и жизненной правды (Русская литература, 1986, № 1).

# Сноски

## 1

Здесь разумеи Москву с ее сороками, но никак не Петербург.

[^^^]

## 2

Соответствие (*фр.*) – *Ред.*

[^^^]

### 3

Имеет большое будущее (нем.). – Ред.

[^^^]

### 4

«Слышали ли вы что-нибудь про волнения среди рабочих, господин профессор?» – «Нет» (нем.). – Ред.

[^^^]

[^^^]

# Комментарии

## 1

Речь идет о книге А. П. Милюкова «Афины и Константинополь» (СПб., 1859). Рецензию на нее Добролюбова см.: V, 484–488.

[^^^]

## 2

И. Бабст в «Письме первом» говорил о своих впечатлениях, схваченных «на лету»: «...не успеешь еще обжиться, ознакомиться, а тут календарь говорит: поезжай далее – и ваш путешественник записывает наскоро свои заметки, собирает свои пожитки, прячет записную книжку в карман, спешит на станцию железной дороги и скачет далее».

[^^^]

Добролюбов использует в данном случае в полемике с либералами сатирическое повествование Н. Макарова «Задушевная исповедь. Назидательная быль» (*Совр.*, 1859, № 11), в котором дана разоблачительная история поведения откупщика В. А. Штукарева (фактически В. А. Кокорева), предававшего шаг за шагом интересы своего друга, приглашенного в компаньоны. Публикация «Задушевной исповеди» в *Совр.* сопровождается одобрителем «Несколько слов от редакции», написанным Добролюбовым (см.: V, 428–429).

[^^^]

## 4

Добролюбов пересказывает свое сатирическое стихотворение «Безрассудные слезы» (Свисток, № 2, 1859; см.: VII, 360).

[^^^]

## 5

«Письмо пятое. Дрезден».

[^^^]

## 6

Неточная цитата, У Вабста: «...свобода труда восторжествует...» и т. д. (с. 100).

[^^^]

## 7

Цитата из того же письма (с. 100).

[^^^]

## 8

Бреславлю (современное название – Вроцлав, западные земли Польши) Бабст посвятил «Письмо второе», в котором описаны происходившие близ Бреславля рабочие волнения.

[^^^]

## 9

В мае 1849 г. в Дрездене произошло восстание против Саксонского короля. Восстание было подавлено саксонскими и прусскими войсками. Об этом Вабст пишет в «Письме пятом. Дрезден».

[^^^]

## 10

«Письмо четвертое. Берлин».

[^^^]

## 11

Упомянутый факт приводится в книге Бабста (с. 67).

[^^^]

## 12

Христиан Вольф был изгнан по настоянию «пиетистов», лютеран-фанатиков.

[^^^]

## 13

*Снепер* и *Томазий* – немецкие юристы. Христиан Томазий в 1696 г. вынужден был покинуть университет в Лейпциге.

[^^^]

## 14

Э. Векинг – ординарный профессор Боннского университета – противник молодого доцента этого же университета Бекгауза.

[^^^]

## 15

Родственная протекция, от лат. *peros* – внук.

[^^^]

## 16

Свод классических сочинений юристов Рима, опубликованный (529 г. н. э.) как закон императором Юстинианом I.

[^^^]

[^^^]